

Н.Н. Наседкин

Лужин

ЛУЖИН Петр Петрович — персонаж романа Ф.М. Достоевского «Преступление и наказание», надворный советник; дальний родственник Марфы Петровны Свидригайловой, жених Авдотьи Романовны Раскольниковой. Впервые он «появляется» в письме Пульхерии Александровны Раскольниковой к сыну, где подробно описывается, как Дуня вынуждена была оставить со скандалом место гувернантки в доме Свидригайлова из-за его гнусных домоганий, как все же честь ее была восстановлена и вот посватался к ней некто Петр Петрович Лужин: «Человек он деловой и занятый, и спешит теперь в Петербург, так что дорожит каждой минутой. <...> Человек он благонадежный и обеспеченный, служит в двух местах и уже имеет свой капитал. Правда, ему уже сорок пять лет, но он довольно приятной наружности и еще может нравиться женщинам, да и вообще человек он весьма солидный и приличный, немного только угрюмый и как бы высокомерный. Но это, может быть, только так кажется с первого взгляда. <...> А Петр Петрович, по крайней мере по многим признакам, человек весьма почтенный. В первый же свой визит он объявил нам, что он человек положительный, но во многом разделяет, как он сам выразился, «убеждения новейших поколений наших», и враг всех предрассудков. Многое и еще говорил, потому что несколько как бы тщеславен и очень любит, чтоб его слушали, но ведь это почти не порок. Я, разумеется, мало поняла, но Дуня объяснила мне, что он человек хотя и небольшого образования, но умный и, кажется, добрый. <...> Конечно, ни с ее, ни с его стороны особенной любви тут нет, но Дуня, кроме того что девушка умная, — в то же время существо благородное, как ангел, и за долг поставит себе составить счастье мужа, который в свою очередь стал бы заботиться о ее счастье, а в последнем мы не имеем, покамест, больших причин сомневаться, хотя и скоренько, признаться, сделалось дело. К тому же он человек очень расчетливый и, конечно, сам увидит, что его собственное супружеское счастье будет тем вернее, чем Дунечка будет за ним счастливее. А что там какие-нибудь неровности в характере, какие-нибудь старые привычки и даже некоторое несогласие в мыслях (чего и в самых счастливых супружествах обойти нельзя), то на этот счет Дунечка сама мне сказала, что она на себя надеется; что беспокоиться тут нечего и что она многое может перенести, под условием если дальнейшие отношения будут честные и справедливые. Он, например, и мне показался сначала как бы резким; но ведь это может происходить именно оттого, что он прямодушный человек, и непременно так. Например, при втором визите, уже получив согласие, в разговоре он выразился, что уж и прежде, не зная Дуни, положил взять девушку честную, но без приданого, и непременно такую, которая уже испытала бедственное положение; потому, как объяснил он, что муж ничем не должен быть обязан своей жене, а гораздо лучше, если жена считает мужа за своего благодетеля. <...> Я уже упомянула, что Петр Петрович отправляется теперь в Петербург. У него там большие дела, и он хочет открыть в Петербурге публичную адвокатскую контору. Он давно уже занимается хождением по разным искам и тяжбам и на днях только что выиграл одну значительную тяжбу. В Петербург же ему и потому необходимо, что там у него одно значительное дело в сенате. Таким образом, милый Родя, он и тебе может быть весьма полезен, даже во всем, и мы с Дуней уже положили, что ты, даже с теперешнего же дня, мог бы определенно начать свою будущую карьеру и считать участь свою уже ясно определившеюся. О, если б это осуществилось! Это была бы такая выгода, что надо считать ее не иначе, как прямою к нам милостию вседержителя. Дуня только и мечтает об этом. Мы уже рискнули сказать несколько слов на этот счет Петру Петровичу. Он выразился осторожно и сказал, что, конечно, так как ему без секретаря обойтись нельзя, то, разумеется, лучше платить жалованье родственнику, чем

чужому, если только тот окажется способным к должности (еще бы ты-то не оказался способен!), но тут же выразил сомнение, что университетские занятия твои не оставят тебе времени для занятий в его конторе. <...> Знаешь что, бесценный мой Родя, мне кажется, по некоторым соображениям (впрочем, отнюдь не относящимся к Петру Петровичу, а так, по некоторым моим собственным, личным, даже, может быть, старушечьим, бабьим капризам), — мне кажется, что я, может быть, лучше сделаю, если буду жить после их брака особо, как и теперь живу, а не вместе с ними. Я уверена вполне, что он будет так благороден и деликатен, что сам пригласит меня и предложит мне не разлучаться более с дочерью, и если еще не говорил до сих пор, то, разумеется, потому что и без слов так предполагается; но я откажусь...»

Для пронизательного Раскольникова в этих простодушных словах Пульхерии Александровны характеристика-портрет мелкой души ухватистого Лужина уже дана полная. Много добавляет и внешний портрет Петра Петровича, данный при первом его визите к Родиону, его поведение: «Это был господин немолодых уже лет, чопорный, осанистый, с осторожной и брюзгливою физиономией, который начал тем, что остановился в дверях, озираясь кругом с обидно-нескрываемым удивлением и как будто спрашивая взглядами: “Куда ж это я попал?” <...> в общем виде Петра Петровича поражало как бы что-то особенное, а именно нечто как бы оправдывавшее название “жениха”, так бесцеремонно ему сейчас данное. Во-первых, было видно и даже слишком заметно, что Петр Петрович усиленно поспешил воспользоваться несколькими днями в столице, чтоб успеть принарядиться и прикраситься в ожидании невесты, что, впрочем, было весьма невинно и позволительно. Даже собственное, может быть, даже слишком самодовольное собственное сознание своей приятной перемены к лучшему могло бы быть прощено для такого случая, ибо Петр Петрович состоял на линии жениха. Все платье его было только что от портного, и все было хорошо, кроме разве того только, что все было слишком новое и слишком обличало известную цель. Даже щегольская, новехонья, круглая шляпа об этой цели свидетельствовала: Петр Петрович как-то уж слишком почтительно с ней обращался и слишком осторожно держал ее в руках. Даже прелестная пара сиреневых, настоящих жувенеvских, перчаток свидетельствовала то же самое, хотя бы тем одним, что их не надевали, а только носили в руках для парада. В одежде же Петра Петровича преобладали цвета светлые и юношественные. На нем был хорошенький летний пиджак светло-коричневого оттенка, светлые легкие брюки, таковая же жилетка, только что купленное тонкое белье, батистовый самый легкий галстучек с розовыми полосками, и что всего лучше: все это было даже к лицу Петру Петровичу. Лицо его, весьма свежее и даже красивое, и без того казалось моложе своих сорока пяти лет. Темные бакенбарды приятно осеняли его с обеих сторон, в виде двух котлет, и весьма красиво сгущались возле светло-выбритого блиставшего подбородка. Даже волосы, впрочем чуть-чуть лишь с проседью, расчесанные и завитые у парикмахера, не представляли этим обстоятельством ничего смешного или какого-нибудь глупого вида, что обыкновенно всегда бывает при завитых волосах, ибо придает лицу неизбежное сходство с немцем, идущим под венец. Если же и было что-нибудь в этой довольно красивой и солидной физиономии действительно неприятное и отталкивающее, то происходило уж от других причин...»

Когда Лужин получил «отставку», потерял статус жениха Авдотьи Романовны и был выставлен за порог Родионом, именно на последнего и направил свою мстительность уязвленный Петр Петрович и именно в этих целях подстроил провокацию с обвинением Сони Мармеладовой в воровстве. Кстати, в связи с отставкой характеристика этого персонажа дополняется и уточняется: «Главное дело было в том, что он, до самой последней минуты, никак не ожидал подобной развязки. Он куражился до последней черты, не предполагая даже возможности, что две нищие и беззащитные женщины могут выйти из-под его власти. Убеждению этому много помогли тщеславие и та степень самоуверенности, которую лучше всего назвать самовлюбленностью. Петр Петрович, пробившись из ничтожества, болезненно привык любоваться собою, высоко ценил свой ум и способности

и даже иногда, наедине, любовался своим лицом в зеркале. Но более всего на свете любил и ценил он, добытые трудом и всякими средствами, свои деньги: они равняли его со всем, что было выше его. Напоминая теперь с горечью Дуне о том, что он решился взять ее, несмотря на худую о ней молву, Петр Петрович говорил вполне искренно и даже чувствовал глубокое негодование против такой “черной неблагодарности”. А между тем, сватаясь тогда за Дуню, он совершенно уже был убежден в нелепости всех этих сплетен, опровергнутых всенародно самой Марфой Петровной и давно уже оставленных всем городишком, горячо оправдывавшим Дуню. Да он и сам не отрекся бы теперь от того, что все это уже знал и тогда. И тем не менее он все-таки высоко ценил свою решимость возвысить Дуню до себя и считал это подвигом. Выговаривая об этом сейчас Дуне, он выговаривал свою тайную, возлелеянную им мысль, на которую он уже не раз любовался, и понять не мог, как другие могли не любоваться на его подвиг. Явившись тогда с визитом к Раскольникову, он вошел с чувством благодетеля, готовящегося пожать плоды и выслушать весьма сладкие комплименты. <...>

Дуня же была ему просто необходима; отказаться от нее для него было немислимо. Давно уже, уже несколько лет, со сластиею мечтал он о женитьбе, но все прикапывал денег и ждал. Он с упоением помышлял, в глубочайшем секрете, о девице благонравной и бедной (непреренно бедной), очень молоденькой, очень хорошенькой, благородной и образованной, очень запуганной, чрезвычайно много испытавшей несчастий и вполне перед ним приникшей, такой, которая бы всю жизнь считала его спасением своим, благоговела перед ним, подчинялась, удивлялась ему, и только ему одному. Сколько сцен, сколько сладостных эпизодов создал он в воображении на эту соблазнительную и игристую тему, отдыхая в тиши от дел! И вот мечта стольких лет почти уже осуществлялась: красота и образование Авдотьи Романовны поразили его; беспомощное положение ее раззадорило его до крайности. Тут являлось даже несколько более того, о чем он мечтал: явилась девушка гордая, характерная, добродетельная, воспитанием и развитием выше его (он чувствовал это), и такое-то существо будет рабски благодарно ему всю жизнь за его подвиг и благоговейно уничтожится перед ним, а он-то будет безгранично и всецело владычествовать!.. Как нарочно, незадолго перед тем, после долгих соображений и ожиданий, он решил наконец окончательно переменить карьеру и вступить в более обширный круг деятельности, а с тем вместе, мало-помалу, перейти и в более высшее общество, о котором он давно уже с сладострастием подумывал... Одним словом, он решился попробовать Петербурга. Он знал, что женщинами можно “весьма и весьма” много выиграть. Обаяние прелестной, добродетельной и образованной женщины могло удивительно скрасить его дорогу, привлечь к нему, создать ореол... и вот все рушилось! Этот теперешний внезапный, безобразный разрыв подействовал на него как удар грома. Это была какая-то безобразная шутка, нелепость! Он только капельку покуражился; он даже не успел и высказаться, он просто пошутил, увлекся, а кончилось так серьезно! Наконец, ведь он уже даже любил по-своему Дуню, он уже владычествовал над нею в мечтах своих — и вдруг!.. Нет! Завтра же, завтра же все это надо восстановить, залечить, исправить, а главное — уничтожить этого заносчивого молокососа, мальчишку, который был всему причиной. С болезненным ощущением припоминался ему, тоже как-то невольно, Разумихин... но, впрочем, он скоро с этой стороны успокоился: “Еще бы и этого-то поставить с ним рядом!” Но кого он в самом деле серьезно боялся, — так это Свидригайлова...»

Ну и, наконец, натура Лужина дополнительно раскрывается в его взаимоотношениях с Лебезятниковым, опекуном которого он слыл и у которого остановился по приезде в Петербург: «Он остановился у него по приезде в Петербург не из одной только скаредной экономии, хотя это и было почти главною причиной, но была тут и другая причина. Еще в провинции слышал он об Андрее Семеновиче, своем бывшем питомце, как об одном из самых передовых молодых прогрессистов и даже как об играющем значительную роль в иных любопытных и баснословных кружках. Это поразило Петра Петровича Вот эти-то мощные, всезнающие, всех презирающие и всех обличающие

кружки уже давно пугали Петра Петровича каким-то особенным страхом, совершенно, впрочем, неопределенным. Уж конечно, сам он, да еще в провинции, не мог ни о чем в этом роде составить себе, хотя приблизительно, точное понятие. Слышал он, как и все, что существуют, особенно в Петербурге, какие-то прогрессисты, нигилисты, обличители и проч., и проч., но, подобно многим, преувеличивал и искажал смысл и значение этих названий до нелепого. Пуще всего боялся он, вот уже несколько лет, обличения, и это было главнейшим основанием его постоянного, преувеличенного беспокойства, особенно при мечтах о перенесении деятельности своей в Петербург. В этом отношении он был, как говорится, испуган, как бывают иногда испуганы маленькие дети. Несколько лет тому назад в провинции, еще начиная только устраивать свою карьеру, он встретил два случая, жестоко обличенных губернских довольно значительных лиц, за которых он дотоле цеплялся и которые ему покровительствовали. Один случай кончился для обличенного лица как-то особенно скандально, а другой чуть-чуть было не кончился даже и весьма хлопотливо. Вот почему Петр Петрович положил, по приезде в Петербург, немедленно разузнать, в чем дело, и если надо, то на всякий случай забежать вперед и заискать у “молодых поколений наших”. <...> Ему надо было только поскорей и немедленно разузнать: что и как тут случилось? В силе эти люди или не в силе? Есть ли чего бояться собственно ему или нет? Обличат его, если он вот то-то предпримет, или не обличат? А если обличат, то за что именно, и за что собственно теперь обличают? Мало того: нельзя ли как-нибудь к ним подделаться и тут же их поднадуть, если они и в самом деле сильны? Надо или не надо это? Нельзя ли, например, что-нибудь подустроить в своей карьере именно через их же посредство?.. <...> Как ни был простоват Андрей Семенович, но все-таки начал понемногу разглядывать, что Петр Петрович его надувает и втайне презирает и что “не такой совсем этот человек”. Он было попробовал ему излагать систему Фурье и теорию Дарвина, но Петр Петрович, особенно в последнее время, начал слушать как-то уж слишком саркастически, а в самое последнее время — так даже стал браниться. Дело в том, что он, по инстинкту, начинал проникать, что Лебезятников не только пошленький и глуповатый человек, но, может быть, и лгунишка и что никаких вовсе не имеет он связей позначительнее даже в своем кружке, а только слышал что-нибудь с третьего голоса <...>. Кстати заметим мимоходом, что Петр Петрович, в эти полторы недели, охотно принимал (особенно вначале) от Андрея Семеновича даже весьма странные похвалы, то есть не возражал, например, и промалчивал, если Андрей Семенович приписывал ему готовность способствовать будущему и скорому устройству новой “коммуны” где-нибудь в Мещанской улице; или, например, не мешать Дунечке, если той, с первым же месяцем брака, вздумается завести любовника; или не крестить своих будущих детей и проч., и проч. — все в этом роде. Петр Петрович, по обыкновению своему, не возражал на такие приписываемые ему качества и допускал хвалить себя даже этак — до того приятно была ему всякая похвала...»

В черновых материалах к роману о Лужине, в частности, сказано: «При тщеславии и влюбленности в себя, до кокетства, мелочность и страсть к сплетне. <...> Он скуп. В его скупости нечто от пушкинского Скупого барона. Он поклонился деньгам, ибо все погибает, а деньги не погибнут; я, дескать, из низкого звания и хочу непременно быть на высоте лестницы и господствовать. Если способности, связи и проч. мне манкируют, то деньги зато не манкируют, и потому поклонюсь деньгам...»

Прототипами Лужина послужили, вероятно, присяжный стряпчий П. Лыжин, фамилия которого упоминается в черновых материалах к «Преступлению и наказанию», и П. Карепин, муж сестры писателя В.М. Достоевской (Карепиной), правитель канцелярии Московского военного генерал-губернатора. Вступив в 1840 во второй брак с Достоевской, которая была моложе его на 26 лет, он вскоре был назначен опекуном ее младших братьев и сестер. Достоевский считал его ограниченным, черствым дельцом, старым скрягой и, судя по всему, сделал прототипом таких малосимпатичных своих героев, как Быков в «Бедных людях» и Лужин в «Преступлении и наказании».

Любопытные аналогии можно усмотреть между этим довольно неприглядным персонажем и самим автором, во-первых, если помнить, что прототипом Авдотьи Романовны Раскольниковой явилась в какой-то мере А. Сулова, а во-вторых, что как раз в разгар работы над романом 45-летний Достоевский, как и 45 -летний Лужин, посватался к молоденькой девушке (А. Сниткиной) и ходил женихом...